

ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Вы расчесываете у себя зуд вашего
мнения до тех нор, пока не станете пар-
шивыми с головы до ног.

*Шекспир*¹

I

Отличительная черта русской литературы, и черта очень печальная, есть ее очевидная *искусственность*, то есть что она не растет естественно из наших духовных сил и жизненных потребностей, а развивается больше всего в силу побочных влияний, из подражания, из тщеславия, для развлечения или из расчета. Таков, впрочем, общий характер всей нашей умственной деятельности, и от этого происходит, что объем этой деятельности гораздо шире, чем ее содержание. У нас есть Академия наук, университеты и другие ученые учреждения, но ученых и учености очень мало. Точно так же пишется и печатается несравненно больше, чем следует, то есть пропорция дельных книг, настоящего умственного труда необыкновенно мала сравнительно с другими просвещенными странами. Читающая публика растет с каждым днем, но число серьезных, истинно просвещенных читателей ничтожно и, можно думать, не только не растет, а убывает. У нас множество

газет, но политической силы, то есть настоящего государственного и общественного значения, они почти не имеют.

В самом деле, что такое русская газета? Стоит ли за нею какое-нибудь определенное дело, определенная партия? Очевидно, нет, так как нет у нас дел и партий, имеющих обязанность и право говорить самостоятельно. Поэтому, в сущности, у нас газета есть личный орган ее редактора, и «Московские ведомости» однажды весьма правильно объявили себя таким органом. В других странах определенная партия или известное направление общественного мнения создают себе орган в газете; у нас наоборот — газета стремится возбудить общественное мнение, образовать себе партию. Так точно в других странах университет есть создание той учености, которая уже развилась в обществе; у нас наоборот — университет стремится насадить ученость в обществе, еще чуждом учености. Преимущественно правительство у нас заботится об успехах наук и распространении просвещения; так точно оно же сочло нужным вызвать в известной мере развитие общественного мнения. Но, в сущности, правительство придает значение не партиям, а голосам отдельных лиц, и наши публицисты — не выразители мнений общества, а внушители этих мнений, руководители общества.

В новом журнале «Устои»² мы встретили следующие сетования:

«В то время, когда западноевропейские партии вырабатывают свои программы на основании богатого опыта жизни, русские должны их созидать чисто математическим путем, оперируя над отвлеченными величинами, или, того хуже — над иксами. Западно-европейский публицист, утверждая, положим, что необходимы такие-то и такие-то реформы, такие-то и такие-то законодательные меры, прямо вам сошлется на резолюцию такого-то и такого-то митинга, на постановление такой-то и такой-то ассоциации, на прессу, не имеющую надобности скрывать истину, и т. д. За него, следовательно, говорит, и в большинстве случаев громко и ясно, сама жизнь, и на его долю остается, таким образом, только нетрудная задача регистрации. Но что прикажете делать публицисту русскому?» и т. д. («Устои», 1882, №№9 и 10, стр. 82).

Все это довольно верно. Но вот вопрос, кто же вас просил быть русским публицистом? Откуда такое призвание? Как случилось, что вы избрали себе деятельность, для которой нет никаких прямых требований, никаких надлежащих условий? Что это за партии, не имеющие программы, но во что бы то ни стало желающие ее составить? Очевидно, роль публициста выбирается только по-

наслышке, по подражанию, из желания стать руководителем, но неизвестно в чем и неизвестно кого.

И этому отвлеченному публицисту соответствует его публика, точно такая же отвлеченная. Публика у нас не просвещенная, не проникнутая какими-нибудь определенными идеями, вкусами, учениями, а только еще стремящаяся к просвещению, только еще жаждущая идей, ищущая убеждений и вкусов. Все стараются быть образованными, но никто еще не знает, в чем состоит истинное образование. Просвещение у нас почти не растет само собой, из своих естественных корней, а распространяется сверху, преимущественно усилиями правительства. Молодежь мужская и женская постоянно стекается в столицы и большие города, отчасти из отвлеченного честолюбивого желания чему-нибудь учиться, еще больше из желания куда-нибудь девать себя, но главное — из расчета на чины и места, для которых образование поставлено непременным условием. Правительство имело сперва в виду приготовить себе нужных людей и, приготовивши, размещало их по назначению; но потом оно вполне расширило свою задачу и стало хлопотать о всякого рода просвещении, и в размерах неограниченных. Вместе с тем оно отказалось от размещения своих питомцев, от доставления им поприща деятельности. Оно вводило к нам патентованные на Западе программы и порядки, посылало за границу молодых людей, но не могло само давать направление нашему образованию, вливать в него некоторый дух; а еще меньше могла быть во власти правительства серьезность и глубина, с которою принималось просвещение. Нельзя даровать того, чего не существует; очевидно, само общество, сам народ должен создать свою серьезную науку, твердое и ясное направление своего просвещения. Так, Ломоносов, Державин и т. д. создали русскую художественную литературу не в силу правительственных программ и указаний, а по внушению своего гения. В научной же сфере у нас не укрепилось и не развилось ничего самостоятельного. Мы особенно отличились в тех науках, где самостоятельность почти невозможна — в математике, химии и т. п. Не нужно, однако, забывать главного. Пусть наш Чебышев один из первых математиков, пусть Менделеев даже первый химик в мире — Кеплер химии; но те народы, с которыми мы желаем соперничать, не только производят великих химиков и математиков, они могут гордиться большим — они создали самую химию и самую математику.

В науках же нравственного мира, то есть в тех, где есть простор для установления самобытных точек зрения, для открытия своих особых горизонтов, мы ничего почти не сделали. Поэтому

тут мы подвергаемся непрерывному и жалкому колебанию. Каждое поколение учится по новым европейским книжкам философии, истории, юриспруденции; но далеко еще не успеют наши профессора выслужить свой двадцатипятилетний срок, как оказываются давно уже отсталыми в сравнении с движением Европы; тогда молодые люди устремляются на вновь явившиеся книги или на новых европейских профессоров и становятся на некоторое время современными и передовыми, а затем в свою очередь запаздывают и отстают. Так мы вечно гонимся за Европой и вечно от нее отстаем. Очевидно, только в том случае, если бы у нас совершалось свое собственное движение, мы могли бы поравняться с нею или даже перегнать ее.

При таком положении дел, что же такое наша публика, наш читающий мир? Это — масса людей, потерявших всякие точки опоры, не приуроченных ни к какому делу или интересу, не имеющих никаких умственных преданий и авторитетов, но сильно возбужденных и вместе подавленных требованием образования. Всякая публика во всех странах мира жаждет авторитета, ищет готовых мнений, печатных указаний, которые бы каждое утро выводили ее из нерешительности, помогали ей мыслить и говорить. Газета в этом случае так же необходима, как обед. Но нет в мире публики такой боязливой и нерешительной, как русская; тут истинно: кто палку взял, тот и капрал. Полуобразованные с робостью затверживают слова и мысли, выдаваемые им за выражение просвещенных взглядов, а наши публицисты — большие мастера терроризировать свою публику и, вместо разъяснения дела, пугать ее отсталостью и изменою разным священным знаменам.

Прибавьте к этому ту зыбкость ума и ту наклонность к идеализму, которые составляют наши природные черты, и даже преимущественно черты великорусского племени. Способность доходить до последних краев каждой мысли, отрицать самое заветное и легкое, бросаться от одной крайности в противоположную порождает в нас ту умственную шаткость, от которой мы обыкновенно спасаем себя каким-нибудь упорным староверством или же беспрекословной, радостной покорностью родине, государству. Склонностью к идеализму я называю здесь то погружение в себя, в свои мысли, в силу которого мы чрезвычайно мало способны к объективности. Мы ненормально дальнозорки и видим в окружающей действительности только то, что нам указывают наши мысли; для остального же мы совершенно слепы. От этого происходит, что мы в некоторых вещах очень щепетильны, очень требовательны, но вообще — небрежны и неряшливы; мы бываем при случае такими энтузиастами или, наоборот — такими циниками,

каких еще мир не производил; но мы почти неспособны видеть предметы в надлежащем свете и в их действительных размерах.

При такой подвижности умов, при отсутствии корней в нашем просвещении, при господстве полуобразования, естественно, что власть над умами существует только одна — авторитет Запада. Не те или другие частности, а общее направление западной жизни действует на нас, не встречая своему влиянию никаких серьезных препятствий. А в чем состоит теперь это направление? На Западе, очевидно, одна идея заслонила собою все другие и усиливается с каждым днем — *идея политическая*. Религия, искусство, наука отодвинуты на задний план, и политика стремится обратить их в свои служебные силы. В политике ищут себе исхода нравственные потребности человечества; энергия людей все больше и больше устремляется в эту сторону, и Запад, с свойственной ему последовательностью и твердостью, конечно, будет развивать свою идею, пока не изживет ее вполне.

Политическая идея выступила на смену религиозной идеи, которою до XVIII века жила Европа. Новое направление жизни, разумеется, встретило себе сопротивление в других исторических стихиях, и из этого сопротивления развились различные реставрации, иногда высокого значения, например, в искусстве — романтика, в философии — гегелизм, в государственной сфере — начало национальностей. Но политическая идея, как такой принцип, который устанавливал новое *единое на потребу*, или обращала эти реставрации в свою пользу, или понемногу брала верх над ними и совершенно их устраняла. История нам постоянно показывает подобное преобладание одной стороны жизни над всеми другими, и прогресс заключается как будто в том, что люди, перебравши эти стороны одну за другою, возвращаются к началу одного и того же круга.

Всем этим течениям европейской жизни мы подчинялись в нашем умственном и литературном развитии. Романтика дала нам нашу поэзию, немецкая философия возбудила у нас первое движение самостоятельной мысли, движение самосознания. Со славянофилов начинается поворот в нашей умственной жизни. Как известно, они — националы в смысле отрицания космополитических идей; они — самобытники, как противники подражательности; они — консерваторы, как защитники тех живых начал, на которых выросла, окрепла и держится Россия. С тех пор, как это направление выступило с такою силою мысли и слова, которая дала ему место в высшем разряде литературных явлений, направления в нашей умственной жизни установились, и началось не только логическое, но и сознательное их развитие, которое имеет вер-

ховное значение в литературе и которому предстоит далекая будущность. Все наши русские партии, всякие консерваторы и патриоты не только не имеют права отречься от славянофильства, а обязаны признавать его существенные принципы и могут расходиться только в частностях, следовательно, работать лишь в пользу более правильного и полного раскрытия и приложения этих принципов. У нас много бессознательных славянофилов, и, как не раз было сказано, весь наш простой народ — такие славянофилы. Но мы говорим здесь не о бессознательных явлениях, а об литературе; в ней мы имеем право требовать сознания.

С появлением славянофильства и западничество должно было получить настоящий сознательный характер; оно также обязано — и стать в отчетливые, ясные отношения к русской *идее*, выставляемой славянофилами, и сознательно держаться той *западной идеи*, которая все сильнее и сильнее проникает собою умственную жизнь Европы. Вопрос поставлен, формулирован; уйти от него некуда, разве только в легкомыслие или равнодушие.

II

Вот те точки зрения, с которых, нам кажется, следует рассматривать движение нашей литературы. Эта литература, представляющая столько отвлеченности и искусственности, разыгрывающая роль образованной, взрослой литературы, плодящая все больше и больше не только поэтов и романистов, но и партий и их программ и публицистов, приобретающая с каждым годом все большее число читателей, которые жаждут идей и руководства и заимствуют от нее и все опоры для суждений и самые слова для их выражения, — эта литература, естественно, должна иметь преимущественно теоретический характер, должна быть, главным образом, поприщем общих мест, общих вопросов. Но из всех вопросов самый существенный и господствующий над всеми другими есть вопрос об авторитете Запада, так как этот авторитет, непрерывно гнетущий и непрерывно возбуждающий, есть единственный ясный авторитет в нашей умственной среде. Против него поднялась реакция, заявлен протест, и все наши вражды и партии сводят^{ся} к этому главному раздвоению, к борьбе этих двух начал.

Давно уже наша умственная история совершается одинаковым порядком. Со времен Грибоедова и до наших дней наши мальчики набираются «каких-то новых правил», а отцы в глупом самодовольстве восклицают:

Извольте посмотреть на нашу молодежь. На
юношей, сынков и внучат; Жури́м мы их. а
если разберешь, В пятнадцать лет учителей
научат!³

До наших дней что делают образованные и достаточные люди?

Кто путешествует, в деревне кто живет...⁴ До наших

дней люди серьезные молятся все о том же:

Чтоб истребил Господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражания,
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом иль примером
Нас удержать, как крепкою вожжей,
От жалкой тошноты но стороне чужой⁵

И со времен Грибоедова и до наших дней мы слышим о своих
общественных порядках все тот же возглас:

Лохмότηев Алексей чудесно говорит, Что
радикальные потребны тут лекарства: Желудок
больше не варит!⁶

В течение шестидесяти лет, прошедших с тех пор, когда указаны эти черты, существенное положение дел осталось то же, и если мы станем подводить итоги того, что сделано у нас в науке и литературе по этому главнейшему вопросу, то нельзя будет удержаться от глубокого уныния. По-видимому, все так же обстоит, как и прежде, и мы только толчемся на одном месте. Умственный мир наш *растет, но не зреет*, как выражался Чаадаев. Даже наоборот, можно думать, что нынче западная идея получила некоторый перевес. Влияние ее отчасти обострилось и породило то в высшей степени злокачественное явление, которое называется нигилизмом. Нигилизм есть очень характерное порождение нашей земли, в котором равно сказались и западное влияние, и наш русский ум с его быстротою и отчаянностью. Это — самая последовательная, самая определенная и потому наиболее оригинальная и поучительная из наших партий. Теперь, когда Бакунины⁷ и Кропоткины⁸ стали словом и делом работать в самой Европе, мы могли бы злобно посмеяться и сказать, что уже платим Западу свой долг, что уже вносим свою долю участия в его политическое развитие.

Но какие же у нас другие, более отрадные успехи? Мудрено сказать. Не будем несправедливы. Задача — совладать с западною идеею, конечно, громадная задача, и естественно, что она подавляет наши силы. Однако же, если мы точно великий народ, то было, кажется, достаточно времени, чтобы совершить какие-нибудь из умственных подвигов, которых требует эта задача. Между тем мы до сих пор не только в математике и химии, а и во всех других

науках, имеющих на Западе свое особенное, одностороннее направление, рабски следуем европейцам. Появились, правда, некоторые прекрасные зачатки, некоторые довольно твердые указания самобытных путей и постановок, но нет ничего целого, законченного. А что всего печальнее — постоянно обнаруживается чрезвычайная слабость научного духа, поразительная неспособность к общим идеям, к их ясному и твердому развитию. Все идет порывами, скачками, брызгами, и ничего не выходит последовательного, полного и сознательного. Эта черта грустна потому, что отнимает надежду на будущее, заставляет сомневаться в годности наших сил для цели им поставленной. Собственно говоря, в литературе теперь не господствуют определенные течения, а царит полный хаос, существуют лишь поползновения, порывания, а не убеждения. Чтобы увериться в этом, стоит только обратить внимание на то, как у нас один пишущий понимает мысли другого пишущего. Он всегда так их искажает, что, очевидно, не имеет ясного представления ни о своей, ни о чужой точке зрения. Между тем восторги и негодования происходят великие и все усиливаются. Наши публицисты, как мы видели, никак не могут составить своих программ; но пугать публику, дразнить ее, подзадоривать и науськивать они умеют превосходно и занимаются таким делом с величайшим усердием. Читатели, даже и те, которые могли бы еще кое-что ясно видеть, совершенно дуреют от этих непрерывных возбуждений и уже ничего не видят в правильном свете и виде. Есть люди, которые занимаются таким омрачением или мороченьем публики долгие годы, и со стороны невозможно не удивляться, как совесть ни разу не подсказала им, что они сами слепы, сами не имеют определенной мысли и, следовательно, не делают ничего хорошего, упражняясь в напускании в чужие головы той путаницы, какая царит в их собственной. Вероятно, они извиняют себя известным учением, что всякое движение, всякая кутерьма лучше, чем застой и спокойствие, то есть что в рассуждении прогресса цель оправдывает средства.

Но не только чужды умственной работе люди мало добросовестные и легкомысленные; и те, за которыми нужно признать и сильный ум и высокие чувства, страдают у нас какой-то *мыслебоязнью*. Они нередко отличаются великою чуткостью относительно всего враждебного дорогим для них интересам; но ограничиваются только указаниями своего чувства, а не стремятся к раскрытию идеи этих драгоценных интересов, к возведению своих чувств в ясные и твердые мысли. Они питаются только своим фанатизмом и готовы видеть что-то кощунственное и святотатственное в попытках анализа и логической формулировки, обращенных на

предметы их уважения. Понятно, что при таком ходе дела положительные учения не делают никаких успехов, и смута умов только увеличивается. Ссылаясь на самые священные знамена, на заветнейшие интересы души человеческой, русские люди и прямо и косвенно называют друг друга мерзавцами, изменниками, еретиками, извергами и сумасшедшими и забывают, или лучше — знать не хотят, что эти их любимые масштабы не годятся для действительных явлений. Семена злобы сеются усердно и успешно, а семена мыслей так скудно, что страшно подумать, каков будет созревший посев.

Другое дело отрицательные учения. Они действительно у нас делают успехи в своем сознательном развитии, потому что всякая смута им идет впрок, потому что они требуют не широкой и ясной мысли, а только отрицания, потому что нигилизм есть самое естественное исповедание людей, у которых нет преданий, нет авторитетов, нет никаких опор для чувств и мыслей. Нигилизм есть прямое выражение умственной и нравственной скудости нашего образованного слоя, и можно считать большим прогрессом, что эта скудость наконец высказалась в такой ясной, сознательной формуле. Задача поставлена ясно, бесповоротно, но большинство, вместо того чтобы содрогнуться и задуматься, остается по-прежнему довольным пестрою смесью своих нанесенных ветром понятий, не имеющих ни корней, ни взаимной гармонии, или же избирает своим делом греметь и пылать, но никак не думать. Между тем если уже навсегда прекратилась бессознательная жизнь Русской земли, если мы приняли в себя закваску западного просвещения, то нам не остается другого выхода, как самостоятельно работать мыслью; мы сильны, здоровы, но нам недостает умственного труда, и нам угрожают беды, от которых только он один нас может спасти.

За последние годы в нашей литературе занимало большое, даже огромное место одно явление, о котором здесь кстати сказать. Покойный Ф. М. Достоевский в своем «Дневнике писателя»⁹ действовал как публицист, касался всяких вопросов дня, возводя их к общим вопросам, и имел необыкновенный успех, возбуждал симпатию, какой мало можно найти примеров. Если мы вспомним прежнюю журнальную деятельность Достоевского, начинающуюся с 1861 г., с начала «Времени»¹⁰, то можно вообще сказать, что он был главным деятелем и представителем некоторого *петербургского славянофильства*, составившего совершенно особую струю в потоке петербургской журналистики, струю, расширявшуюся с каждым годом. Его «Дневник», его речь на Пушкинском празднике, его публичные чтения были рядом истинных побед над пуб-

ликою; когда он умер, уважение и любовь к нему вспыхнули ярким пламенем, которого не забудет никто из видевших.

Огромное влияние Достоевского нужно причислить, конечно, к самым отрадным явлениям, и в нем есть одна черта, заслуживающая величайшего внимания. Эта черта — отсутствие злобы в постановке нашей великой распри между западной и русской идеею. Эта черта поразила всех в пушкинской речи Достоевского, но она же характеризует собою и его «Дневник», и его романы. При всей резкости, с какою он писал, при всей вспыльчивости его слога и мыслей, нельзя было не чувствовать, что он стремится найти выход и примирение для самых крайних заблуждений, против которых ратует. «Смирись, гордый человек, потрудишься, праздный человек!» Эти слова, которые с такой неизобразимою силою прозвучали в Москве над толпою, эти слова звучали не угрозой, не ненавистью, а задушевным, братским увещанием. Та же нота постоянно слышалась в «Дневнике», который поэтому с жадно-стию читался даже многими нигилистами и направлял их на лучший путь. Молодые люди, именно те, которые искали выхода из своих мрачных и страшных убеждений, не только охотно читали Достоевского, но и обращались к нему частным образом, ожидая опоры и руководства. Достоевский, однако, не был ни мыслителем, ни публицистом в настоящем смысле слова; больше всего он был художником, и своим художническим чутьем он различал правду и заблуждение, добро и зло. Он проповедовал не столько логически, сколько психологически, и в своих романах он всего полнее выразил свои стремления и свои взгляды на состояние русских умов и душ. Никто с такой верностью и глубиною не изображал всякого рода нигилистов, и при этом он обнаруживал в отношении к одним презрение и негодование, но в отношении к другим — участие и сострадание. Он понимал то, что совершается в людях, сбившихся с прямого пути. Главною темою его был — *раскаившийся нигилист*; таковы: Раскольников, Шатов", Карамазов и пр.

Вот пример и поучение для всех наших партий. Против чего бы мы ни боролись и как бы горячо мы ни восставали, нам нужно не коснеть в одной вражде и злобе, а стремиться к пониманию своих противников и отыскивать ту более высокую сферу, в которую мы могли бы вывести их из мрака и духовного извращения. Прежде всего и больше всего нужно искать света, потому что,

Увидя свет, уж никому
Назад не хочется во тьму¹².

III

Настоящая литература, в тесном смысле, есть литература художественная, творческая. Художество представляет возможность такого полного и широкого выражения идей, какого не способны дать никакие другие приемы изложения. Русский характер, достоинства и недостатки русского ума и сердца и смысл движений нашей жизни яснее выражаются в произведениях Пушкина, Гоголя, Л. Н. Толстого, чем во всех рассуждениях наших историков и публицистов. Художество создает живые лица, воплощает явления жизни со всем их содержанием, с корнями и задатками. Поэтому главным предметом литературного обозрения всегда должна быть художественная словесность. У нас она, как известно, процветает: мы можем, кажется, прямо сказать, что словесное художество у нас более серьезно, исполнено большей жизни и глубины, чем в других странах Европы. Эта словесность, как и другие отрасли литературы, состоит у нас из нескольких очень крупных и важных явлений и затем из великого множества подражательных и очень слабых, то есть и у нее объем несравненно шире содержания; но на этот раз содержание так веско, что жаловаться не приходится.

Возьмем настоящую минуту. Что теперь в руках читателей? Во-первых, сочинения Достоевского, которых полное собрание, четырнадцать очень больших томов, быстро выходит том за томом; конечно, только теперь эти сочинения получают наибольшее свое распространение и действие. Потом — усердно читается Некрасов; недавно напечатан третий десяток тысяч посмертного собрания его сочинений. С этими двумя покойниками по успеху можно сопоставить Л. Н. Толстого, которого рассказ «Чем люди живы» без конца перепечатывается, и непрерывно пишущего г. Салтыкова, которого в последние два-три года многие прямо провозглашают великим *сатириком*. Нам кажется, эти четыре имени представляют уже очень серьезное содержание для читателей, и если требуется, чтобы изящная литература питала умы и сердца, то в настоящую минуту она у нас производит довольно обильное питание. Какого рода это питание, есть ли в нем ясность и гармония, — это другой вопрос; можно страшиться этого питания или печалиться о нем, но нельзя не признать, что у нас есть серьезная словесность, нельзя не задуматься над глубиной ее загадочных явлений. Вспомните, например, сочинения Достоевского; это целая туча самых живых и разнообразных задач.

Конечно, нынешняя минута есть развитие и продолжение предыдущих годов. Чтобы взять нашу мысль полнее и яснее, мы ду-

маем остановиться на трех явлениях, которые рассмотрим в связи: это — «Новь» г. Тургенева (1877 г.), роман очень поучительный, хотя и неудачный по своей вялости и бессвязности, «Анна Каренина» гр. Толстого (1877г.), роман, в котором следует видеть пролог к рассказу «Чем люди живы», и, наконец, «Братья Карамазовы» (1881 г.), последний роман Достоевского. Нам кажется, из этих трех произведений можно извлечь любопытные указания на духовное состояние наших образованных классов.

IV

Один Гоголь умел изображать русскую *глупость*. Гениальный малоросс, серьезный, глубокий, поэтический, он был поражен тем ветром в голове, тем отсутствием всякой твердости мысли, которая так часто у нас встречается, и изобразил его в своих Хлестаковых, Ноздревых, Кочкаревых и т. д. Он изумительно уловлял пустоту ума, неспособность мысли видеть действительность, и дважды, в *Ревизоре* и в *Мертвых душах*, представил нам грандиозное комическое зрелище, как целый город волнуется нелепейшими представлениями. Очень жаль, что мы не вспоминаем этих картин каждый раз, когда случится с нами то, что называется пороть горячку. Если бы мы внимательно всмотрелись в то, что тогда с нами происходит, мы увидели бы, как поразительно все наши горячки похожи на волнения, возбужденные некогда Чичиковым и Хлестаковым.

После Гоголя никто уже не умел смеяться так, как он, смеяться так от души, без всякой примеси другого чувства, ибо смех был полным ответом на изображенные фигуры и сцены. Наше настроение изменилось, мы ударились в печаль и тоску и разучились смеяться. Теперь случается слышать, что Гоголь скучен, что в нем нет серьезного содержания; удивительное художество перестало на нас действовать, и комические картины мы принимаем за действительные глупости. Этот перелом начался давно, и следы его можно найти, например, у Аполлона Григорьева. Сначала он был восторженным поклонником Гоголя, говорил, что только у Гоголя отношение к предметам вполне правильно, что, например, у Достоевского возводится в трагедию то, что заслуживает лишь комедии (направление Достоевского Ап. Григорьев вообще называл сентиментальным натурализмом). Но потом взгляды критика изменились; увлеченный движением литературы, ее попытками выставить положительные типы, он охладел к Гоголю и в 1861 году писал: «Чем более я в него на досуге вчитываюсь, тем более див-

люсь нашему бывалому ослеплению, ставившему его не то что в уровень с Пушкиным, а, пожалуй, и выше его. Ведь Федор-то Достоевский — будь он художник, а не фельетонист, — и глубже, и симпатичнее его по взгляду, — и главное, гораздо проще и искреннее. Ведь прямое, хотя несколько грубое последствие Гоголя — Писемский, а косвенное Гончаров...» *¹³.

Критик разумеет здесь свой давнишний упрек этим двум писателям, именно: что у них мало идеальности. Точно так, как известно, Гоголю приписывалось порождение «*натуральной школы*» и далее — «обличительной литературы». Но эта генеалогия, равно как и предпочтение Гоголю других талантов, представлявших уже не мнимое развитие его недостатков, а как бы их восполнение, — едва ли справедливы. Можно согласиться, что следовавшая литература полнее, шире захватила предмет, но по художественной силе, а следовательно, и по глубине внутренней правды, она не подымалась выше Гоголя. Что же касается до дурных *последствий*, которые ему приписывают и которых он сам испугался, то виноват в них не он, несчастный художник, потерявший силы, но, в сущности, никогда не изменявший возвышенного *строю своей лиры*, а виновата сама жизнь, постоянно действующая так, что высокие явления в ней понижаются в своих формах, вырождаются и искажаются. Ясный пример этому можно видеть в той судьбе гоголевского смеха, о которой мы сказали. Этот удивительный смех, представляющий одно из высочайших явлений художества, исчез у нас почти без следа. Тяжелое настроение духа лишило прямого, правильного действия эти чудесные образцы. Исторiku и критику, который всегда должен воздерживаться от современных пристрастий и смотреть на дело с высоты, в настоящее время потребен известный труд, чтобы оживить в себе и показать другим то, что так далеко от нынешних литературных вкусов и привычек.

Нынешний смех, которого представителем нужно считать г. Щедрина, есть совершенно особенная потеха, очень характерная для нашего времени. Все называют г. Щедрина сатириком, то есть относят его к межеумочному роду, не принадлежащему к настоящему художеству, и даже ярые его приверженцы самым естественным образом пропускают его имя, когда вздумают говорить о наших художественных писателях. Но и понятие сатиры есть нечто слишком точное и определенное в сравнении с тем, что пишет г. Щедрин. Это не сатира, а переходящая всякую меру кари-

* Эпоха, 1864, окт.

катура, не ирония, а нахальная издевка, неистовое глумление, не насмешка, а надругательство над всяким предметом, за который берется этот сатирик. Все это совершается с несомненным талантом; скажем более — несомненный талант нахальства и глумления один только и руководит автора в его долгой деятельности; он давно уже забыл требования мысли и художества, давно уже обдумывает не лица, а только прозвища, не действия, а только сильные выражения и язвительные обороты речи. Но художество не дает попирать себя безнаказанно; та правда, которой мы в нем ищем и в которой состоит его сущность, не открывается писателю, который не служит искусству добросовестно. Вот почему этот фельетонист, конечно, не стоящий имени сатирика, так успешно потешает свою публику, но невообразимо скучен, почти невозможен для чтения для людей сколько-нибудь серьезных. Изредка можно полюбоваться теми чертами нашей ноздревщины и хлестаковщины, которые схватывает г. Щедрин, но в целом из этого ничего не выходит, и внимательный читатель скоро убеждается, что тут не только нет самого отдаленного последствия Гоголя, а даже наоборот, что вся эта пресловутая сатира сама есть некоторого рода ноздревщина и хлестаковщина, с большою прибавкою Собакевича.

V

Как бы то ни было, в русской словесности, очевидно, все больше и больше утрачивается художественная свобода. Замолк карающий, но ясный и твердый смех Гоголя, и слышится шипение злобных издевок. И во всех других отношениях светлый мир искусства потерял свою светлость, потускнел и исказился. Литература подавлена какими-то требованиями и не может избавиться от думы, нагоняющей мрак на все его создания. Часто случается слышать, что литература нынче стала серьезнее и что этой большей серьезности следует радоваться. Между тем общий ход дела, если взять его в существе, вовсе не радостный. Все наши крупные таланты, какие есть налицо, образовались и заявили себя еще в николаевское время. Прошрое царствование, когда наша литература так непомерно расширилась, не произвело ни одного значительного таланта. Очевидно, было какое-то влияние, подавляющее развитие художественных сил, не дававшее им зреть и складываться, сбивавшее их с их естественной дороги. Если мы вздумаем присмотреться к новым и новейшим произведениям нашей литературы, то мы сейчас и увидим, где корень зла. Невообразимая распушенность, полная небрежность формы указывает,

что авторы очень мало интересуются идеями тех предметов, о которых вздумали писать, что у них есть другие, посторонние цели, ради которых они каждую минуту готовы пожертвовать требованиями искусства. Это даже не тенденциозность, а одна голая тенденция, без всякого зазрения сбрасывающая с себя форму, в которую она как будто только ради шутки вздумала воплощаться. Никакое дело не может хорошо делаться, если его не делают серьезно. Нельзя служить разом двум господам, и вот почему литературная школа, господствовавшая до 1855 года и исповедовавшая, что художник должен всецело предаваться искусству¹⁴, воспитала целый ряд талантов, тогда как после зари *обновления* все явившиеся таланты неизбежно искажались, не успевая созреть и окрепнуть. Нет ничего мудреного, что и теперь писатели, более других сохранившие или усвоившие старые предания, например, Маркевич¹⁵, Авсеенко¹⁶, Стахеев¹⁷, Боборыкин¹⁸ и т. д., дают нам произведения наиболее цельные и колоритные. У автора такого рода может недоставать определенности и высоты взгляда, но и в таком случае их фигуры бывают выпуклее и интереснее, чем у писателей, задающихся самой выпренней, по их мнению, тенденцией, но ради этой тенденции пренебрегающих и попирающих искусство.

Искусство требует свободного служения себе, и оно дает свободу тому, кто ему служит. Оно не стесняет нас в выражении наших дум и чувств, а, напротив, дает средства выразить их в такой полноте и глубине, какая недоступна ни для какого другого способа выражения. И потому счастливы те, кому выпал на долю дар художества; им нет нужды оглядываться по сторонам: искренно служа своему делу, они могут быть уверены, что выскажут в своих произведениях все лучшее, что хранится в самой глубине их сердца, о чем они сами не знают и не могут судить и что без искусства осталось бы навсегда сокрытым и несказанным.

Таков идеал художественной деятельности; но он редко и слабо осуществляется в действительности. Внутренняя свобода, всегда и везде возможная, является у людей как редкое исключение и, к нашему стыду, возникает иногда лишь в виде отпора внешнему стеснению. Прошрое царствование, исполненное такого шума и движения, глубоко потрясшее весь русский быт, было неблагоприятно для искусства, очевидно, в силу чрезвычайного возбуждения умов, устремления их внимания на практические вопросы и интересы. Началось это время радостным ликованием, розовыми мечтами и надеждами; но странно! — только что стали отчасти сбываться эти мечты и надежды, обнаружился какой-то внутренний разлад, ясная и прямая дорога понемногу стала казаться ту-

манною и ненадежною; появились общее недоумение и растерянность, нагонявшие на умы все большую и большую тоску. Напрасно говорят, что тут происходила правительственная реакция; так говорят журналы, не имеющие у себя никакого другого слова и понятия для названия совершавшегося и судящие лишь по поверхности; в действительности, покойный Государь, очевидно, несмотря ни на что, не хотел изменять и не изменял своему раз принятому пути. В тот период, который кончился гибелью великодушного Освободителя, происходила не реакция, а нечто несравненно более сложное и поучительное; а именно, в наших образованных слоях обнаружилась шаткость, несостоятельность всяких идей и принципов, сказался крайний, томительный недостаток высшего руководства, прямых целей и надежных путей для деятельности. Жизнь как будто потеряла свои животворящие начала, и, несмотря на то, что Россию следует признать не только крепкою, на здоровом корню сидящею, но и непрестанно возрастающею из силы в силу, несмотря на то, что над нами не висит никакого внешнего бедствия, не душит нас никакое насилие,— мы не можем разогнать мрачной думы, твердящей нам о нашей внутренней растерянности. Не о хлебе едином жив будет человек; мы мучительно страдаем нравственным и умственным голодом.

VI

Искусству вообще свойственна чуткость и отзывчивость, так что, собственно говоря, художникам нужно поставить в обязанность воздерживаться от слишком легкой отзывчивости, держать в руках свою впечатлительность и направлять ее от случайных и минутных предметов на предметы более общие и глубокие. Но есть школа, которая, напротив, обязанностию художников считает гоняться за современными явлениями, уловлять последние народившиеся типы людских характеров и положений. К такой школе принадлежали Тургенев и Достоевский; разница между ними в этом отношении только та, что Тургенев очень твердо держался указанного правила, тогда как Достоевский, по некоторой счастливой непоследовательности, соединял с этим правилом стремление к чистому искусству, то есть к глубочайшим и вековым задачам. Как бы то ни было, произведения этих писателей, отражая в себе дух минуты, представляют чрезвычайный современный интерес, которому они и обязаны значительною доле своего успеха.

Роман *Новь* есть, может быть, самый чистый образчик произведений этого рода. Он очень любопытен и важен по содержанию и если не имел никакого успеха, то это только доказывает, что никакое содержание не спасет произведения, грешащего против искусства, не поднимающегося на высоту действительного поэтического созерцания.

Дело было так. Романом *Отцы и дети* автор провинился перед молодым поколением. В этом романе он с великою чуткостью угадал нарождавшийся тип нигилиста и, изображая его с полною свободою художника, положил на него все тени, какие следует. Юноши, узнавшие себя в зеркале, были неприятно поражены, и сам автор признал себя потом, как говорится, без вины виноватым. Чтобы поправить эту вину, очень тяготившую художника, он и написал *Новь*. Он очень усердно следил за всеми нарождавшимися типами молодых людей (ибо так уже завелось и утвердилось, что у нас только молодые люди дают новые типы, а люди в годах, очевидно, возвращаются в типы давно отжившие), и наконец, когда явились *опростелые*, то есть те, которые шли в народ и старались *опроститься*, слиться с народом во всем своем быте, романист решился нарисовать большую картину, которая захватывала бы всякого рода типы этой нови, но в которой была бы и чета совершенно образцовых опростелых (Соломин, Марианна), могущих быть принятыми за идеалы. Для контраста и ясности картины главным лицом рассказа выбран *Нежданов*, юноша тоже безупречный по образу мыслей, но носящий в себе уже отжившие свойства и наклонности; он сознает это сам, борется сам с собою и погибает в этой борьбе, решившись на самоубийство. Замысел, как видите, очень недурной и даже глубокий. Внутренняя борьба *Нежданова* со своими художественными наклонностями, с особенною тонкостью понимания могла бы быть очень интересною, и, вероятно, в мечтах автора смерть его должна была заставить расплакаться читающую Россию.

Отчего же произошла неудача? Отчего никто не плакал, а все скучали? Очевидная вялость и бессвязность романа, в котором лица без достаточного основания мечутся из одного места в другое и внутренние мотивы их действий выясняются очень слабо, зависят, нам кажется, от слабости того интереса, который автор питает к предмету. Автор *сочинял*, а не вдохновлялся широкою и свободною точкою зрения. В *Нови* наголо выступает та мораль, которую мы знаем по всем другим произведениям автора. Она состоит в том, что Рудиных сменяют Лаврецкие, Лаврецких Базаровы, Базаровых Соломины и т. д. и что при каждой смене все человеческое достоинство (а потому и героиня романа) принадлежит

новому типу, старый же тип отступает на задний план и на низшую ступень. При такой точке зрения нельзя было не почувствовать, наконец, совершенного равнодушия к этому великолепному прогрессу, в котором каждая ступень одинаково законна и, следовательно, в сущности все ступени одинаково незаконны. Трагедия, совершающаяся в душе Нежданова, была бы очень интересна, если бы автор стал на одну из сторон, то есть или на сторону художественной чуткости, или на сторону революционного задора; она была бы еще интереснее, если бы автор разом стоял за обе стороны, то есть сам бы мучился этим противоречием, ища ему примирения в чем-то высшем; но она теряет всякую занимательность, если нам показывают, что обе стороны законны, но что позднейшая ступень, исключая собою предыдущую, вполне и с избытком заменяет ее и превосходит.

Как бы то ни было, картина, изображаемая *Новью*, поразительна, если в нее вдуматься, преодолевая скуку романа. Чем держится эта жизнь? Где в ней струи той нравственной стихии, которая одна делает возможным общежитие людей, одна имеет связующую и примиряющую силу? В виде каких-то светлых точек эта стихия мелькает в главных лицах романа; все остальное кругом — мрак и хаос, с которым они борются. Изображение это нельзя назвать неверным; автор старательно изучал свой предмет и всячески тщился быть точным в подробностях. Но изображение верно только до тех пор, пока мы ищем одних сознательных нравственных начал и в них одних способны видеть нечто светлое; бессознательную нравственную стихию автор вовсе упустил из виду, не умев ни разглядеть, ни изобразить ее, — а это великое горе, потому что доказывает нам, что, хотя бы она была и велика и прекрасна, она, однако же, действительно глубоко бессознательна.

VII

Анна Каренина есть произведение не чуждое художественных недостатков, но представляющее и высокие художественные достоинства. Во-первых, предмет такой простой и общий, что многие, и долго, не могли найти его интересным, не воображали, чтобы в романе могла оказаться современность и поучительность. Рассказ распадается на две части или на два слоя, слишком слабо связанных внешним образом, но внутри имеющих тесную связь. На первом плане городская, столичная жизнь, и рассказывается, как Каренина влюбилась в Вронского, вошла с ним в связь, ушла к нему от мужа, но, живя с Вронским, так измучилась своею стра-

стью, что бросилась под вагон. На втором плане, более широком и имеющем более существенное значение, история деревенского жителя Левина; рассказывается, как он объяснялся в любви, делал предложение, говел, венчался, как у него родился сын и стал, наконец, узнавать отца и мать. Величайшая оригинальность автора обнаруживается в том, что эти обыкновенные события по ясности и глубине, с которою он их изображает, получают поражающий смысл и интерес. Общая идея романа, хотя выполненного не везде с одинаковою силою, выступает очень ясно; читатель не может уйти от невыразимо тяжелого впечатления, несмотря на отсутствие каких-нибудь мрачных лиц и событий, несмотря на обилие совершенно идиллических картин. Не только Каренина приходит к самоубийству без ярких *внешних* поводов и страданий, но и Левин, благополучный во всем Левин, ведущий такую нормальную жизнь, чувствует под конец расположение к самоубийству и спасается от него только религиозными мыслями, вдруг пробудившимися в нем, когда мужик сказал, что нужно Бога помнить и жить для души. Это и есть то нравоучение романа, по которому он составляет введение к рассказу *Чем люди живы*.

Каренина живет своею страстью. До этой страсти она была голодна душою; с удивительной тонкостию и ясностию нам изображена эта столичная и придворная жизнь, в которой нет никакой душевной пищи, где интересы искусственные, миражные. Анна и Вронский чуть ли не лучшие люди этой среды, потому что в них естественные чувства взяли верх над всеми искусственными влечениями, составляющими радость и горе их круга. Они вполне отдались своей любви; и для Анны эта любовь до конца осталась единственною жизнью, почему и погубила ее. *Анна Каренина* принадлежит к числу чрезвычайно редких произведений, в которых действительно изображена страсть любви. Несмотря на то, что любовь и сладострастие составляют неизменную тему повестей и романов, обыкновенно авторы довольствуются тем, что выведут на сцену молодую пару и, рассказывая всякого рода встречи и разговоры, предоставляют воображению читателя подсказать ему чувства и волнения, сопровождающие эти встречи и разговоры. В *Анне Карениной*, напротив, точно описан самый душевный процесс страсти,— дело столь новое и необыкновенное, что многие критики и читатели даже не могли понять его и печатно выразили свое недоумение. Страсть здесь возникает с первого взгляда, без предварительных разговоров о вкусах и убеждениях. По старинным романам это так и должно быть, но мы почему-то почти уже забыли эти старые истории. Затем страсть растет, и автор рассказывает каждый ее фазис так же ясно и понятно, как этот

первый взгляд влюбившихся. Все полнее и полнее раскрывается чувство; Анна начинает ревновать, —

Кто любит, тот ревность неволью питает,

как поется в *Руслане*. Сущность ревности, внутренняя борьба Анны и Вронского рассказаны так убедительно и отчетливо, что ужасно видеть неизбежную последовательность этого развития. Несчастливая Анна, положившая всю душу на свою страсть, необходимо должна была сгореть на этом огне. Когда она почувствовала, что ей изменяет ее единственное благо, она позвала смерть. Она не стала дожидаться полного охлаждения или измены Вронского; она умерла не от оскорблений или несчастий, а от своей любви. История трогательная и жестокая, и если бы автор не был так беспощаден к своим героям, если бы он мог изменить своей неподкупной правдивости, он мог бы заставить нас горько плакать над несчастной женщиной, погибшей от бесповоротной преданности своему чувству. Но автор взял дело полнее и выше. Тонкими, но совершенно ясными чертами он обрисовал нам нечистоту этой страсти, не покоренной высшему началу, не одухотворенной никаким подчинением. Мало того. У Карениной и ее мужа в минуты потрясений и болезни совершаются сознательные проблески чисто духовных начал (вспомните больную после родов Анну и Каренина, прощающего Вронского), проблески, быстро затянутые тиной других враждебных им чувств и мыслей. Один Вронский остается *плотным* с начала и до конца.

Таким образом, с ужасающею правдою нам показан этот мир полной слепоты, полного мрака. Контраст ему составляет мир, повидимому, гораздо более светлый, мир Левина, человека искреннего, простого, со многими недостатками, но с чистым сердцем. Каренин и Вронский — типы чиновника и военного, Левин — тип помещика. Их собственно три брата: старший, от другого отца, Кознышев — славянофил; второй, Николай Левин, — нигилист; третий, Константин Левин, герой романа, — представляет как бы просто русского человека без готовых теорий. Это сопоставление очень поучительно; оно дает нам образчики главнейших умственных настроений в нашем обществе, картину нашего умственного брожения. Наилучший представитель этого брожения, имеющий на своей стороне все симпатии автора, есть Константин Левин, вечно умствующий о самых общих вопросах и не принимающий ходячих решений. Конечно, это расположение к умствованию есть чисто русская черта, и вся наша современная литература единогласно свидетельствует, что такое умствование никогда не было в большем ходу, чем теперь.

Но роман изображает нам не умствования, а жизнь Левина, даже самый полный расцвет его жизни, и автор именно хотел нам показать, как возникают мысли Левина из событий его жизни, из неотразимых чувств его сердца. По-видимому, это совершенно благополучная жизнь; Левин человек достаточный, он молод, силен, он забавляется охотой и очень предан своим занятиям хозяйством, он женится на той, которую любит, и становится счастливым отцом семейства. Картины всех этих удовольствий и радостей принадлежат к лучшим и истинно удивительным страницам романа. Спрашивается, откуда же могли взяться мрачные мысли и даже мысль о самоубийстве? Если всмотреться, то мы почувствуем пустоту этой жизни, и нам станет понятен душевный голод Левина. Автор приводит Левина в столкновение с различными сферами людей и дел и везде с своей чудесной ясностью показывает, как Левин не мог примкнуть ни к одной из этих сфер. Он страшно одинок, и одинок в силу своей чуткости, своей правдивости и искренности, не допускающей никаких компромиссов, отвергающей всякую фальшь. Таким образом, лучший из людей, выведенных в романе, менее всего способен слиться с окружающей жизнью. Он ее отвергает, и это отвержение тем сильнее, что оно совершается без раздражения и невольно; Левин ничего не обличает, ни на что не нападает,— он просто уходит от того, что ему противно. В конце романа изображена волна общественного одушевления, пробежавшая во время сербской войны; Левин и тут устраняется, уходя от волны в те глубокие народные слои, которые остались незатронутыми, хотя вполне подчинились ей по общему течению своей жизни. В свое время этот эпизод наделал шума, и даже журнал, печатавший *Анну Каренину*, отказался его напечатать. Но, в сущности, роман содержит много картин, гораздо более безотрадных. Несмотря на полнейшую мягкость приемов, едва ли было когда-нибудь сделано более мрачное изображение всего русского быта. Только мир крестьян, лежащий на самом дальнем плане и лишь изредка ясно выступающий, только этот мир сияет спокойною, ясною жизнью, и только с этим миром Левину иногда хочется слиться. Он чувствует, однако, что не может этого сделать.

Что же остается Левину? Что остается человеку, который подпал такому жестокому разобщению с окружающею жизнью? Ему остается он сам, его личная жизнь. Но личная жизнь есть всегда игрище случая. Когда смертельно заболел брат Николай, когда жена мучится родами, когда гром упал на дерево, под которым спал малютка-сын, и в тысяче других, более мелких событий, в самых своих радостях и удачах, Левин чувствует, что он во власти

случайностей, что самая нить его жизни ежеминутно может порваться так же легко, как тонкая паутинка. Вот откуда его отчаяние. Если моя жизнь и радость есть единственная цель жизни, то эта цель так ничтожна, так хрупка, так очевидно недостижима, что может внушать лишь отчаяние, может лишь давить человека, а не воодушевлять его. И вот где начинается поворот Левина к религиозным мыслям.

VIII

Таков очевидный смысл *Анны Карениной*. Задача взята глубоко, взят вековечный вопрос человеческой жизни, а не один лишь современный тип и современный интерес. Если бы автор не расточил на Левина столько реализма, столько беспощадно правдой растушевки, он мог бы сделать из Левина не простого смертного, неловкого и колеблющегося, исполненного слабостей, — а какого-нибудь нового Гамлета, замученного своими мыслями не вследствие горя и поражающих его преступлений, а, напротив, среди полного внешнего благополучия. Но этот роман действительно изображает нашу современность; на горе нам (или, может быть, на радость?) вечные вопросы у нас волнуют обыкновенных людей и при обыкновенных обстоятельствах. У нас совершается какое-то колебание человеческой совести, заражающее целые толпы всевозможных людей, конечно, из образованных классов. Помещик, не верящий в свое право владеть землею; чиновник, не верящий в свое дело и полагающий, что его труд никак не может стоить получаемого им жалованья; образованный и достаточный человек, завидующий мужику; отец, отрекающийся от всякой собственной жизни ради своих детей; человек в полном цвете сил и среди молодой семьи, не находящий смысла в своей жизни и преследуемый мыслью о самоубийстве, — эти и подобные черты свидетельствуют, что в этом быте исчезли твердые начала, что почва колеблется под ногами этих людей. Левин нашел спасение в религиозных мыслях, но АННГ, принадлежавшая к миражному верхнему слою, несмотря на все свои мучения, не образумилась ни на минуту, не знала даже, куда обратиться, чтобы искать спасения. Это отсутствие всякой серьезности в понятиях так называемых образованных людей, отсутствие того, что собственно называется нравственностью, с великим мастерством изображено в картинах большого света. Весь же роман есть изображение общего душевного хаоса, господствующего во всех слоях, кроме самого нижнего.

Этот же нравственный хаос, очевидно, есть главный предмет *Братьев Карамазовых*. Тема этого романа отчасти есть повторение темы *Преступления и наказания*, но слегка напоминает и *Анну Каренину*. Здесь совершается уже не простое убийство, а *отцеубийство*, к которому приводят нигилистические мысли о том, что *все позволено*, что самоуправство, имеющее ясные, разумные основания и цели, может быть простираемо на все, что не существует никакой границы, которой бы оно не имело права переступить. Выведены на сцену три брата, как представители трех различных направлений: младший, Алексей, исповедует славянофильские убеждения в высокой религиозной их форме; средний, Иван, есть нигилист, тоже самого высокого разряда; старший, Дмитрий, есть простой малообразованный русский человек с большой склонностью умствовать, но без определенного образа мыслей. В начале автор говорит, что настоящий герой его рассказа есть Алексей; но по мере писания романа первая часть его разрослась сама в целый огромный роман, а остальные две части, которые должны были вполне выразить мысль рассказа, к несчастью, унесены автором в могилу¹⁹. Таким образом, главным героем *Братьев Карамазовых* оказался не Алексей, а пока старший брат Дмитрий. По обыкновению автора весь роман имеет несколько фантастический колорит, состоящий в том, что события и встречи следуют друг за другом с ненатуральной быстротой и отчасти произвольно, но еще более в том, что все действующие лица исполнены слишком сложных и слишком быстро сменяющихся чувств. Любовь и ненависть, подозрение и вера, радость и отчаяние и т. д. говорят в душе каждого лица почти в одно время; при взаимных сношениях эти лица почти не могли бы понимать друг друга, если бы все не имели равно этого особенного душевного строя. Хотя, таким образом, внутренние и внешние элементы рассказа сочетаются ненормально и, сверх того, беспрерывно повторяются в новых вариациях, но сами по себе эти элементы глубоко реальны, в чем и состоит сила Достоевского и на чем основано было его собственное убеждение в реализме создаваемых им картин. Внутренняя правда душевных движений, которые он выставлял напоказ, неотразимо увлекала читателей, несмотря на все внешние недостатки рассказа.

В *Карамазовых* рассказывается, как гнусный отец, Федор Павлович, убит ради грабежа своим незаконным сыном, Смердяковым, одною из гнуснейших и фантастичнейших фигур романа. Смердякова посвятил в нигилизм и почти подбил на убийство Иван Карамазов. Оба они, как Раскольников в *Преступлении и наказании*, неожиданно для себя чувствуют страшные угрызения со-

вести, до того, что Иван впал в нервную горячку, а Смердяков повесился. Между тем обвинение и кара за убийство по ошибке падает на Дмитрия, который тоже ненавидел отца, не только вообще за его гнусность, но и из-за недоданных денег, а особенно из ревности к гулящей девушке Груше. Существенная черта рассказа заключается в том, что Дмитрий, несмотря на свою злобу, несмотря на отчаяние, к которому его привели страсти и всякие проступки и в котором он мечтает уже о самоубийстве,— Дмитрий воздерживается от убийства отца. При всех своих кутежах и буйствах он исполнен идеальных порывов, он верит в Бога и бессмертие души, и этот строй мыслей спасает его от злодейства, для которого у него были всяческие поводы и возможности. Когда же на него обрушивается приговор в каторгу, он не ропщет, он понимает, что несет наказание не только за других, но и за свои вины; он чувствует в себе поворот к обновлению, к воскрешению в себе нового, чистого человека.

Фон для этой хаотической картины поставлен автором самый определенный и светлый, именно — монастырь, олицетворяющий в себе религию, православие, разрешение всяких вопросов и несокрушимую надежду на победу истинно живых начал. К послушнику Алеше и теперь все обращаются, ища душевного успокоения и руководства. В следующем романе Алеше предстояли, вероятно, еще большие волнения и испытания. Иван Карамазов, судя по всему, должен был выйти на дорогу политического преступника и совершить какое-нибудь страшное покушение (недаром *Карамазов* так похож на *Каракозов*). И все оканчивалось, вероятно, победою светлых начал и их ярким откровением в лице Алеши.

В настоящем же романе изображена, главным образом, душевная шалость, доходящая до крайних пределов. Как будто автор вообще задавался мыслью о так называемой *ширине* русской природы, об этом поразительном сочетании в той же душе великого добра с великим злом, об готовности в одно время и к подвигу и к злодеянию, о равной способности и всем жертвовать и все попортить. В *Легенде о великом инквизиторе* нигилизм возведен на свою высшую точку, до мыслей грандиозных в своей кощунственности; чувствуется, что этот Иван Карамазов должен повернуть и, если повернет, с такою же силою уйдет в противоположную сторону.

Таковы три самые крупные произведения нашей литературы за последнее время. В каждом из них есть по самоубийству и вообще много отчаяния; каждое из них изображает нравственный

хаос, жестокое колебание человеческой совести; два последние — Анна Каренина и Братья Карамазовы указывают на религию, как на выход из хаоса и отчаяния.

Очевидно, мы переживаем некоторый внутренний перелом, имеющий, судя по указанным чертам, величайшую важность и глубину. Беспокойное чувство этого нравственного переворота смутно отзывается в душах. Но до сознания, до настоящего понимания далеко; для господствующих понятий и вкусов, для того, что нынче называется *образованием* и *просвещением*, разумение дела трудно, почти недоступно; и *ветреное* племя, как выразился Гоголь, еще не содрогается...

КОММЕНТАРИИ

ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Впервые опубликовано: «Русь». 1883, 6 янв.

Печатается по тексту книги: *Страхов Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). 4-е изд. Киев, 1901.

¹ Приводится цитата из пьесы В. Шекспира «Кориолан» (акт 1, сцена 1). В современном переводе: «...зачем, чесотке умыслов своих поддавшись, себе вы струпья расчесали?»

² Либерально-народнический журнал «Устои» издавался в Петербурге в 1881 — 1882 гг. под ред. С. А. Венгерова, при участии В. М. Гаршина, Н. Н. Златов-ратского, А. Н. Плещеева и др.

³ Цитируются строки из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 2, явл. 5).

⁴ Строка из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действ. 2, явл. 2).

⁵ Строки из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действ. 3, явл. 22).

⁶ Строки из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действ. 4, явл. 5).

⁷ *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер, один из идеологов анархизма и народничества. В 30-е годы играл видную роль в кружке Н. В. Станкевича, был близок с Белинским, впоследствии — с Герценом и Огаревым.

⁸ *Кропоткин* Петр Александрович (1842—1921) — русский революционер, один из теоретиков анархизма, испытавший влияние П. Прудона и М. А. Бакунина.

⁹ «Дневник писателя» — внутренне связанный цикл публицистических и художественных выступлений Ф. М. Достоевского — сначала в журнале «Гражданин» (1873), затем в виде ежемесячных отдельных выпусков (с 1876 по 1881 г.). «Дневник писателя» охватывал самые разнообразные политические, нравственные, эстетические проблемы.

¹⁰ Журнал «Время» издавался в Петербурге в 1861 — 1863 гг. М. М. Достоевским при ближайшем участии Ф. М. Достоевского, его фактического редактора. Активным сотрудником журнала был Страхов. В связи с его статьей «Роковой вопрос» журнал был закрыт в апреле 1863 года. Общее направление журнала имело почвеннический характер.

¹¹ *Шатов* — герой романа Достоевского «Бесы».

¹² Цитируются строки из трагедии А. Н. Майкова «Два мира», часть 3 (1881).

¹³ Цитата из письма Ап. Григорьева к Н. Страхову от 19 октября 1861 г. Опубликовано в журнале «Эпоха», 1861, №9.

¹⁴ Имеются в виду эстетические принципы так называемого «чистого искусства», выразившиеся в поэтической и литературно-критической деятельности А. Н. Майкова, Н. Ф. Щербины, Я. П. Полонского, А. А. Фета, А. В. Дружинина, П. В. Анненкова и др.

¹⁵ *Маркевич* Болеслав Михайлович (1822—1884) — писатель, выступивший в антинигилистических романах («Марина из Алого Рога», «Четверть века назад», «Перелом» и др.) защитником охранительных начал.

¹⁶ *Авсеенко* Василий Григорьевич (1842—1913) — писатель, занимавший консервативные позиции, автор антинигилистического романа «Злой дух» и др.

¹⁷ *Стахеев* Дмитрий Иванович (1840—1918) — писатель, автор ряда путевых очерков, повестей, романов; Страхов заметил и оценил литературное дарование Стахеева.

¹⁸ *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель, автор многих социально-бытовых романов.

¹⁹ Имеется в виду замысел многочастного романа «Житие великого грешника», к которому Достоевский вернулся в 1878 году. В «Братьях Карамазовых» воплотилась часть предполагаемого романа-жития о нравственных скитальчествах Алексея Карамазова.